

А.Толстой. Русский характер.

Проблемы:

- 1. О русском характере.***
- 2. О мужестве и смелости.***
- 3. Проблемы выбора***

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую Звёздочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замётён сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнётся от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке — ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...» У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жён у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонёк, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть. Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождётся, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель

Чувилев.

«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперёд, кричит, полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст ещё в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванётся из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемёта повёл, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант даёт мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я ещё — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нём горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. — Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не на своё лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал своё лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошёл к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать вёрст. Кругом ещё лежали снега, было сыро, пустынно, студёный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришёл, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привёрнутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Всё в том же тёмном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно её испугать, нельзя, чтобы у неё отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошёл во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привёз поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда ещё у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про её сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьёт, не терпит нужды ни в чём, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо тёмными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришёл отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошёл к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была широкая справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец! Ему было и хорошо за

родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо её болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сём, какова будет весна и справится ли народ с севом и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, — что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...» Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой верёвке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшённые ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастёрку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе её повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза её блестели, брови изумлённо взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти тёплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива, так, что вот вошла и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто её слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твёрдо решил уйти, — сегодня же. Мать напекла пшённых блинов с топлёным молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на её милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушёл на станцию пешком, как пришёл. Он был очень угнетён всем происшедшим, даже останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?» Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это — совсем, говорит, ты старуха свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — всё своё: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у неё прощенья, не своди её с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя ещё больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в посёлок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе — всё покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а —

нервы». Входим в избу, он — впереди меня и я слышу:
«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь ещё красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видел.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушёл в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота.

1942-1944